

ИСКАЖЕННЫЕ ОТРАЖЕНИЯ : “ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ”
Ш. БОДЛЕРА И “РАСПАД АТОМА” Г. ИВАНОВА *

Георгий Мосешвили

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья
Г. Иванов

То, что творчество Бодлера оказало огромное влияние на русскую литературу Серебряного века, общеизвестно. Стихи автора “Цветов зла” переводили такие знаменитые поэты, как И. Анненский, К. Бальмонт, В. Брюсов, Н. Гумилев, Вяч. Иванов, Д. Мережковский. Проза Бодлера была также доступна русскому читателю, хотя и в далеких от совершенства переводах Эллиса. Печатались многочисленные статьи о французском поэте, выходили посвященные ему монографии. Традиции русского “бодлероведения” не прервались и в эмиграции. Несомненно, бодлеровское наследие продолжало оказывать влияние и на литераторов русского зарубежья. Так, Игорь Северянин включил сонет о Бодлере в свой сборник стихов “Медальоны” (Белград 1934), а Георгий Иванов, переиздавая в Берлине свою книгу стихов “Вереск”, включил в нее два перевода бодлеровских стихов. Характерная деталь: русские литературоведы-эмигранты достаточно часто сравнивали Бодлера с русскими поэтами XIX в. На-

* Произведения Г. Иванова цитируются по изданию: Иванов Г. Собрание сочинений в 3-х тт. Сост. Е. Витковский, комм. В. Крейда и Г. Мосешвили. Москва 1994. В дальнейшем указаны номер тома и страницы. Произведения Ш. Бодлера цитируются по изданию: Baudelaire Ch. Oeuvres inédits. Paris 1887; русские переводы Бодлера - по книге Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. Москва 1997. Тексты “Моего обнаженного сердца” даются в переводе Г. Мосешвили, тексты “Фейерверков” и “Гигиены” – в переводе Е. Баевской. Далее в скобках указываются: для Иванова том и страница, для Бодлера страница.

пример, И. И. Лапшин в статье “Трагическое в произведениях Пушкина” писал: “Шестой вид трагического у Пушкина представляет особый интерес. Это трагика грешников, которые сознательно идут против нравственного закона. Эта антиморальная воля находит себе великолепное выражение у Бодлера в его стихотворении “Rebelle” (Fleurs du mal, LXXXVII) [...] Герой Бодлера, по-видимому *умышленно и сознательно*... тяготеет ко злу. Примеры такого умышленного тяготения ко злу и дает Пушкин в своих четырех пьесах: “Скупой рыцарь”, “Пир во время чумы”, “Каменный гость” и “Сцена из Фауста”.¹

Другую, несколько неожиданную параллель проводит П. М. Бицилли в статье “Образ совершенства”: “Что с точки зрения истории литературы, стилей, приемов, словесной выразительности, их генезиса, общего между Некрасовым и Бодлером. А между тем я не могу вспомнить “Больницы”, или “Еду ли ночью по улице темной...”, или “Вот идет солдат...”, чтобы вместе с этим в моей памяти не всплыли “Les Petites Vieilles”.²

Добавлю, что уже в послевоенное время Ю. Иваск опубликовал в нью-йоркском “Новом Журнале” статью “Бодлер и Достоевский”.

В отличие от названных эмигрантских литераторов, Г. Иванов напрямую к творчеству Бодлера не обращался (если не считать упомянутых переводов во втором, берлинском издании сборника “Вереск”). Однако о влиянии поэзии и прозы Бодлера на автора “Роз” и “Петербургских зим” свидетельствуют многочисленные текстологические параллели, причем в большинстве своем они имеют явно неслучайный характер. И прежде всего это касается так называемых “дневниковых записей” Бодлера, опубликованных под названиями “Фейерверки”, “Гигиена” и “Мое обнаженное сердце”, и знаменитого эссе Г. Иванова “Распад атома”.

Прежде всего необходимо отметить, что речь идет о прозаических произведениях, авторами которых являются поэты. В “дневниковых записях” Бодлера проза повседневной жизни нередко соседствует с высоким поэтическим стилем. А жанру, к которому принадлежит “Распад атома” Г. Иванова, дал точное определение В. Ходасевич: поэма в прозе.

Георгий Иванов, владевший французским языком, несомненно, был хорошо знаком с бодлеровской поэзией. Были у него возможности и для того, чтобы прочитать прозаические произведения французского поэта, в

¹ Лапшин И. И. Трагическое в произведениях Пушкина // Заветы Пушкина. Москва 1998, с. 326-327.

² Бицилли П. М. Образ совершенства // Бицилли П. М. Трагедия русской культуры. Исследования. Статьи. Рецензии. Москва 2000.

частности, “Фейерверки”, “Гигиену” и “Мое обнаженное сердце”, которое было даже переведено на русский язык Эллисом в 1910 г. Впервые же эти “дневники” были опубликованы во Франции еще в 1887 г.

Прежде чем говорить о конкретных прямых соответствиях, отметим две немаловажные детали. “Дневником” бодлеровские записи можно назвать лишь условно. Бодлер действительно хотел вести дневник, но вместо этого у него получилось собрание разрозненных заметок на разные темы. Нет ни одной точной даты, рядом с философскими рассуждениями может оказаться подсчет суммы долга или план действий на будущее. Мало того, мы не знаем, в какой последовательности нужно эти записи располагать. Возможно, среди них есть отрывки из черновика для будущей книги. То есть тексты Бодлера – это фиктивный дневник.

Структура “Распада атома” абсолютно идентична. Правда, это монолог вымышленного персонажа, но очень похожий на сбивчивые дневниковые записи. Точно такой же, как у Бодлера, “мозаичный” стиль, то есть рядом с горькой сентенцией о том, как “несчастные одинокие человеческие души... продираются к Богу”, следует шокирующий пассаж о “ногах уличной девчонки”. Так же, как у Бодлера, нет дат. Нет даже имени и фамилии героя. Тот же “фиктивный дневник”. Но бодлеровский хаос здесь превращается в космос законченного литературного произведения: у Г. Иванова есть некая объединяющая, казалось бы, несоединимые осколки текста концепция. У Бодлера ее, на первый взгляд, нет. Но вспомним: Бодлер так и не успел превратить свой “дневник” в законченное произведение.

Поставленные друг против друга зеркала, бесконечное число раз отражающие друг друга, – магический символ самой бесконечности как таковой. Этот образ появлялся в стихах Г. Иванова:

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья (1, 321).

По сути таким – искаженно отражающим самих себя в другом – зеркалам можно уподобить “дневник” Бодлера и “Распад атома” Г. Иванова. Причем начинаются эти отражения уже с названий самих произведений. Трех вариантам своего “дневника” Бодлер дал разные заглавия: “Фейерверки”, “Гигиена”, “Мое обнаженное сердце”.

Каждое из этих слов так или иначе отразилось в тексте “Распада атома”. Название “Фейерверки” (“*Les Feux Artificiels*”, дословно “Искусственные огни”) у Бодлера имеет то же значение, что “*Illuminations*” (“Иллюминации”) у Рембо – “озарения”. У Г. Иванова этому соответствует постоянно повторяющееся слово “догадка”. “Догадка, что ясность и за-

конченность мира – только отражение хаоса в мозгу тихого сумасшедшего [...] Догадка, что огромная духовная жизнь разрастается и перегорает в атоме, человеке внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом. Догадка, что первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый” (2, 10). “Догадка” здесь, по сути, – то же “озарение”. И это не говоря о том, что и у Бодлера, и у Г. Иванова в текстах присутствует лейтмотив антиномии света и тьмы, к которому мы еще вернемся. “Гигиена”, или “Мораль ухода за собой” – для Бодлера вопрос немаловажный, недаром отдельная часть записей посвящена именно этой теме. У Г. Иванова эта же тема дана в подчеркнуто шокирующем контексте: фрагменты о старике, жадно поедающем облитый мочой хлеб, о проститутке, которая вымоет ноги, “если ей объяснишь, что не любишь делать в чулках”, о “спирте младенцовке”. И, наконец, заглавие “Мое обнаженное сердце” можно соотнести с опять-таки повторяющейся у Г. Иванова темой сердца: “Сердце перестает биться” (2, 10); “его сердце еще не разорвалось – вот оно по-прежнему бьется в груди” (2, 25), вновь “сердце перестает биться” (2, 31).

Такие повторяющиеся темы или лейтмотивы присутствуют у обоих авторов. Посмотрим, насколько они совпадают. У Бодлера: Бог, любовь, проституция, смерть, небо, антиномия света и тьмы, сумасшествие, одиночество, время, прогресс, женщина, бессмертие, сны. У Георгия Иванова: Бог, любовь, проституция, смерть, антиномия света и тьмы, ночь, сумасшествие, одиночество, время, прогресс, женщина, бессмертие, сны. Совпадает почти все. Но дело здесь даже не в том, что совпадают эти ключевые слова-символы, а, скорее, в том, как их интерпретируют Бодлер и Г. Иванов. Кроме того, некоторые мысли Бодлера, несомненно, “отразились” в поздних стихах русского поэта.

Размышления о Боге занимают важнейшее место в бодлеровских “дневниках”. Некоторые фрагменты свидетельствуют, казалось бы, об искреннем религиозном чувстве автора: “Даже если бы Бога не существовало, все равно религия было бы Святой и Божественной” (405); “каждое утро возносить молитву Богу – вместилицу всей сущей силы и справедливости [...] Мои унижения были милостью Божией” (425); “Обращение к Богу, или одухотворенность – это желание подняться как бы ступенью выше...”(435) и некоторые другие.

Но в том же тексте можно найти и совершенно другие высказывания о Боге и религии: “Что такое падение? Если это единство, ставшее двойственностью, значит, пал Бог. Иначе говоря, не было ли творение – падением Бога” (440); “Бог есть соблазн, приносящий доход” (416); “самое проституированное существо – это существо высшее, это Бог, ибо он

ближайший друг каждого человека, ибо он – принадлежащий всем, неистощимый кладезь любви” (443). Любопытно, что та же метаморфоза религиозного чувства присутствует и в тексте “Распада атома”. Сначала герой поэмы в прозе Г. Иванова признается: “Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей думает обо мне [...] Иногда мне чудится даже, что моя боль – частица Божьего существа [...] Минута слабости, когда хочется произнести вслух “Верую, Господи...” (2,7). Отрезвление, мгновенно вступающее в права после минуты слабости.

Это “отрезвление” в дальнейшем повествовании подтверждается неоднократно. Мысли о Боге у героя “Распада атома” постоянно соседствуют с мыслями совершенно другого порядка – в основном, о женщинах, плотской любви, физиологии. “Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в женские лица. Вот эта хорошенькая, мне нравится. Я представляю себе, как она подмывается” (2, 8). В другом месте: “Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них. Любовь ставит... Бог поставил человеку – человеком – вопрос, но ответа не дал. И человек, обреченный только спрашивать, не умеющий ответить ни на что” (2, 24-25). Далее: “Только голые ножки ангельчика, прижатые к окостеневшим губам, и единственный свидетель – Бог. Он был титулярный советник, она генеральская дочь” (2, 31). И в самом конце “Распада атома”: “Смысл жизни? Бог? Нет, все то же дорогое бессердечное, навсегда потерянное твое лицо” (2, 34).

Другой “лейтмотив”, присутствующий в обоих текстах, – тема прогресса, который и Бодлеру, и Г. Иванову представляется не путем восхождения человека и общества к вершинам знания, не обретением новых возможностей развития, а неизбежным злом, торжеством механистической цивилизации, темной силой, убивающей человеческую душу. “Нас настолько американизирует механика, а прогресс настолько атрофирует в нас духовное начало, – пишет Бодлер в “Фейерверках”, – что с его положительными результатами не сравнится ни одна кровожадная, кощунственная или противоестественная греза утопистов. Пусть кто-нибудь из мыслящих людей назовет мне хоть что-то, поныне уцелевшее от живой жизни” (420). В “Моем обнаженном сердце” находим другой фрагмент: “Вера в прогресс – вот доктрина лентяев [...] Ее смысл: человек рассчитывает на то, что сосед выполнит его работу. Не может быть прогресса (истинного, т. е. морального), который не заключался бы в самом человеке и не осуществлялся им самим” (434). Отметим, что “атрофия духовного начала” в человеке, следствие “доктрины лентяев”, по Бодлеру,

ведет к уничтожению “живой жизни”. Бодлер говорит как бы о двух “прогрессах”: реальном и страшном, существующем в окружающем мире, и предполагаемом, *возможном* лишь в самой человеческой душе. Для Георгия Иванова, в его “тридцатых годах двадцатого века” этот “внутренний” прогресс уже невозможен. Зато осуществление прогресса “внешнего” привело к катастрофическим последствиям. “Новые железные законы, перетягивающие мир, как сырую кожу, не знают утешения искусством” (2, 14); “это сияние почти не доходит до нас [...] Скоро все навсегда поблекнет” (2, 14); “я думаю о эпохе, разлагающейся у меня на глазах” (2, 9). Результатом прогресса, по Георгию Иванову, становится не только уничтожение гармонии мироздания, но и окончательный кризис искусства: “... не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя утешиться прежним” (2, 14).

Одним из следствий такого “прогресса” является для героя “Распада атома” так называемое “мировое уродство” – этот образ дисгармонии мира двадцатого века повторяется в тексте неоднократно. “Одно из свойств мирового уродства – оно представительно” (2, 6); “...истинная дорога души вьется где-то в стороне – штопором, штопором – сквозь мировое уродство” (2, 19). “Мировое уродство не рухнуло – вот оно, как скала, по-прежнему подпирает мир” (2, 25) – констатирует герой ивановской поэмы в прозе. И поэтому, перед тем как покончить с собой, в предсмертном письме он пишет: “Сам частица мирового уродства – я не вижу смысла его обвинять” (2, 34). Так и не сумевшая “продраться” к Богу и безнадежно искалеченная дьявольским “прогрессом”, человеческая душа становится частью почти inferнального мира. Вспомним еще одну фразу Бодлера о прогрессе: “Теория истинной цивилизации. Ее суть заключается не в газе, не в паре, не в столоверчении – она в сглаживании следов первоначального греха” (446). Однако этого “сглаживания” в мире, по Бодлеру, не происходит – и в результате на первый план выходит именно уродливость мироздания. Эта точка зрения в бодлеровских дневниковых записях выявлена неоднократно, и поводы для подобных мыслей появлялись самые разные. Приведем только некоторые. “В любой деятельности есть нечто мерзостное”; “бесконечная мерзость афиш” (436); “возмущение бесконечным самодовольством всех классов, всех существ обоих полов и любого возраста” (440); “коммерция по сути своей – порождение Сатаны” (452). И, может быть, самое недвусмысленное: “Невозможно, просматривая какую-либо газету [...] не обнаружить в каждой строчке признаков самой жуткой человеческой испорченности [...] Любая газета, с первой до последней строчки, как бы соткана из ужасов. Войны, преступления, кражи, бесстыдства, пытки, преступления государей, преступления наций,

преступления частных лиц, какое-то опьянение всеобщей жестокостью” (454). Вот – лик “мирового уродства”, по Бодлеру. Между прочим, отголосок этого бодлеровского пассажа о прессе можно найти в “Распаде атома”, один из персонажей которого читает газету со статьей об “общественном мнении Англии”, а затем “вдруг внезапно видит перед собой черную дыру своего одиночества” (2, 24).

Тема одиночества – одна из самых важных и для Бодлера, и для Г. Иванова. “Чувство одиночества с самого моего детства. Несмотря на близких – и особенно в кругу товарищей – чувство вечно одинокой судьбы” (433); “когда я внушу всему свету гадливость и омерзение – тогда я добьюсь одиночества” (415); “до сих пор я наслаждался своими воспоминаниями только в полном одиночестве. Нужно наслаждаться ими вдвоем” (426). Характерно, что само понятие одиночества для Бодлера амбивалентно: с одной стороны, это трагедия непонятого миром художника, с другой – состояние идеальное для творчества (допустимо в крайнем случае присутствие лишь одного достойного собеседника или любимой женщины). Для Г. Иванова, впрочем, как и для его героя (конечно, не тождественного автору), такое романтическое восприятие невозможно. “Жиденькое противоядие смысла [...] а за ним глухонемая пустота одиночества” (2, 7). “Мировой рекорд одиночества. – Так ответь, скажи, о чем ты мечтаешь тайком, там, на самом дне твоего одиночества” (2, 11). “Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, черную ледяную дыру” (2, 24). “По черному городу идет потерянный человек. Пустота, как морской прилив, понемногу захлестывает его” (2, 32). “Точка, атом, миллионы вольт, пролетающие сквозь него, и вдребезги, вдребезги плавающие ядро одиночества” (2, 33). Герой “Распада атома” существует в мире, где одиночество – “естественное” состояние человека, потому что связи между людьми разорваны.

“Скажи мне, о чем ты мечтаешь тайком, и я тебе скажу, кто ты. – Хорошо, я попытаюсь сказать, но расслышишь ли ты меня?” (2, 10) – такой диалог ведет с воображаемым собеседником герой “Распада атома”. Через несколько страниц он возвращается к теме одиночества, но уже в несколько другом аспекте: речь идет о том, что одинокие “люди-атомы” просто неспособны понять друг друга: “Два миллиарда обитателей земного шара. Каждый сложен своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, как атом в ядро, заключен в непроницаемую броню одиночества [...] Все отвратительны. Все несчастны. Никто не может ничего изменить и ничего понять” (2, 25). Здесь налицо несомненная параллель со следующим фрагментом из “Моего обнаженного сердца: “Мир движется лишь в силу Недоразумения.

Именно благодаря всемирному Недоразумению все в мире приходит к согласию” (452). Еще более ярко эту параллель иллюстрирует почти точная цитата этого высказывания Бодлера в известном стиховорении Г. Иванова “Тускнеющий вечерний час” (из цикла “Дневник” в сборнике “1943-1958. Стихи”):

Что связывает нас? Всех нас?
Взаимное непониманье (1, 404).

Заметим, что у Бодлера есть еще одно упоминание об этом “непониманье” – в записи, где речь идет об отношениях мужчины и женщины: “Дурак и дура – они оба убеждены, что мыслят согласно. Непреодолимая бездна несоединимости так и осталась непреодоленной” (445).

Тема любви в “дневниках” Бодлера и “Распаде атома” представлена таким количеством соответствий, что для подробного их изложения и анализа потребовалось бы отдельное исследование. Отметим лишь основные параллели. Прежде всего бросается в глаза очевидное сходство: и Бодлер, и Г. Иванов в своих текстах дают определения физической любви как процесса, напоминающего войну, муку или пытку. Вот только две бодлеровские мысли: “Любовь хочет выйти за пределы самой себя, слиться со своей жертвой, как победитель с побежденным, но все-таки сохранить преимущества завоевателя” (405); “... любовь очень похожа на пытку, или хирургическую операцию [...] Он или она – хирург или палач, а другой – пациент или жертва. Слышите вздохи, прелюдию к трагедии бесчестья, эти стоны, эти крики, эти хрипы? [...] И чем это, по-вашему, лучше пыток, чинимых усердными палачами? Эти закотившиеся сомнамбулические глаза, эти мышцы рук и ног, вздувающиеся и каменеющие [...] – ни опьянение, ни бред, ни опиум [...] не представят вам столь ужасного, столь поразительного зрелища” (406-407). Не из этого ли бодлеровского фрагмента родились в “Распаде атома” следующие строки: “Кто они, эти двое? О, не все ли равно. Их сейчас нет. Есть, [...] только напряжение, вращение, сгорание, блаженные перерождения сокровенного смысла жизни [...] Семенные канатки, яичники, прорванная плева, черемуха, развороченные колени, без памяти, звезды, слюна, простыня, жилки дрожат, вдребезги, вдребезги, ы... ы... ы... Единственная нота, доступная человеку, ее жуткий звон” (2, 23). И при этом и у Бодлера, и у Г. Иванова есть и другой образ любви. Бодлер пишет о “своем образе Прекрасного”: “Это нечто пылкое и печальное, нечто слегка зыбкое, оставляющее место для догадки [...] я приложу это свое определение [...] к лицу женщины. Обольстительное, прекрасное [...] оно навевает мысли [...], исполненные одновременно меланхолии, усталости [...] или, напротив

того, распалает пламень, жажду жизни, смешанную с такой горечью, какую обычно рождает утрата и отчаяние” (412). Эти два слова – утрата и отчаяние – возвращают нас к Г. Иванову и его образу потерянной любви в “Распаде атома”: “Я хочу в последний раз вызвать из пустоты твое лицо, твое тело, твою нежность, твою бессердечность, собрать перемешанное, истлевшее твое и мое, как горсточку праха на ладони, и с облегчением дунуть на нее” (2, 420). И чуть далее: “Все рвется, ползет, плавится, рассыпается в прах – Париж, улица, время, твой образ, моя любовь” (2, 25). И в самом конце текста – последнее, о чем герой вспоминает, прежде чем покончить счеты с жизнью, – это “дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твое лицо” (2, 34).

У этой темы есть еще один аспект, характерный как для бодлеровских “дневников”, так и для “Распада атома”, – сопоставление любви и проституции. В тексте Г. Иванова это конкретные “портреты” парижских проституток, например: “Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги, встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги” (2, 31). У Бодлера рассуждения о проституции даны, как эти ни парадоксально, скорее, в философском плане: “Человек – животное, умеющее обожать. Обожать – значит приносит себя в жертву и проституировать себя. Таким образом, всякая любовь является проституцией” (443). Бодлер интересуется тем, что такое “священная проституция” (431), “почему умный человек любит шлюх больше, чем светских женщин, хотя они одинаково глупы” (440). Впрочем, он может в своих “дневниках” привести анекдотическую историю о “пятифранковой шлюхе Луизе Вильдье” (455) или с замечательной небрежностью заметить: “Я забыл имя этой шлюхи... Ах! ба! – я узнаю его на Страшном Суде” (451). Кстати, вслед за фрагментом о Луизе Вильдье, стеснявшейся смотреть на обнаженные статуи в Лувре, идет запись о “фиговых листочках господина Ньеверкерке” (455). Этот человек был во Франции генеральным директором музеев и, борясь за чистоту нравов, добивался, чтобы нагота статуй, выставленных в музеях, была прикрыта. И тут трудно не вспомнить еще об одной общей для Бодлера и Г. Иванова теме.

Эти отрывки можно было бы назвать “Рассуждениями о человеческой глупости”. Бодлер собирается в своем так и оставшемся незаконченным произведении дать “портреты дураков во всей красе” (437) и провести “анализ наглости дураков” (450). И здесь мы вновь сталкиваемся с почти точной цитатой из “Моего обнаженного сердца” в поздних стихах Г. Иванова – ведь одно из стихотворений цикла “Портрет без сходства” (сборник “1943-1958. Стихи”) начинается так:

Рассказать обо всех мировых дураках,
 Что судьбу человечества держат в руках (1, 328).

Характерно употребление инфинитива, явного у Г. Иванова и подразумеваемого у Бодлера: “(дать) портреты дураков во всей красе”. Разница только в “статусе” самих дураков: для Бодлера это, прежде всего, “судейские, чиновники, главные редакторы газет и т. д.”, а для Г. Иванова, очевидно, государственные деятели и политики.

Реакция современников на “Распад атома” была в основном негативной (за исключением чуть ли не единственной хвалебной рецензии В. Злобина в сборнике “Литературный смотр” - Париж 1939). В немалой степени этому “способствовали” многочисленные “шокирующие” моменты в тексте, такие как “совокупление с мертвой девочкой” (2, 12), описания “трапезы” старика-клошара, пожирающего пропитанную мочой булку, валявшуюся в писсуаре (2, 27), уже упомянутые крайне натуралистические фрагменты, в которых речь идет о физической любви. Конечно, у Бодлера даже в неопубликованных “дневниках” подобных вещей нет – все-таки время было иным. Но вспомним, что в свое время стихотворный сборник Бодлера “Цветы зла” был признан книгой “непристойной”, “оскорбляющей общественную мораль и добронравие”, а затем это издание даже послужило предметом судебного разбирательства. Впрочем, и в “Моем обнаженном сердце” можно найти “шокирующие” – конечно, по меркам того времени – рассуждения: чего стоят хотя бы мысли “о необходимости бить женщин” (450); о том, что женщина *естественна*, то есть отвратительна (430); о том, что “Бог – самое протитуированное существо”, или собирательный образ “литературной сволочи” – доктор Трактириус Гадинус Педантиссимус (439).

Этот прием – введение в текст “шокирующих” деталей, видимо, призван и у Бодлера, и у Г. Иванова еще ярче, рельефнее проявить антинормию света и тьмы, общую для обоих авторов. “Вместе с атмосферой человек впивает свет,” – пишет Бодлер в “Фейерверках”, а через несколько страниц сравнивает молитву с электрической индукцией (408). Наконец, в “Моем обнаженном сердце” он с иронией замечает: “Что мне всегда [...] казалось самым прекрасным в театре, – так это люстра – прекрасный, сверкающий, хрустальный [...] предмет” (434). Он называет море “отблеском бесконечности” (446). Рассуждая о ненавидимой им Жорж Санд, он постоянно говорит о Рае и Аде, то есть, по сути, о свете и тьме. Что же касается Г.Иванова, то в “Распаде атома” такие слова, как “свет”, “тьма”, “ночь”, “закат”, “рассвет”, “темнота”, “сияние”, “черная дыра” встречаются буквально на каждой странице.

Как бы в противовес кошмарному макрокосму “мирового уродства”, Г. Иванов вводит в повествование сказочный “микросмический мир сюрреалистических зверьков” (2, 20-22). Их “австралийский язык” состоит из гротескных словечек и выражений, пародирующих как быденную речь (“это нас не кусается”), так и высокопарный стиль (“ногоуважаемый”, “ваше высокоподбородие”). Это создает неожиданный комический эффект – и думается, что в данном случае стилистика Г. Иванова точно отражает бодлеровский принцип, провозглашенный в “Фейерверках” и оставшийся невоплощенным в творчестве самого Бодлера: “высокопарно рассказывать о смешном” (408).

Кажется, приведенные соответствия и параллели убедительно доказывают сходство основных тематических линий в произведениях Бодлера и Г. Иванова. Основываясь на этом сходстве, мы решимся утверждать, что, работая над созданием “Распада атома”, Г. Иванов творчески пересмыслил многие фрагменты из бодлеровских записей. Несомненно, “Фейерверки”, “Гигиена” и “Мое обнаженное сердце” не единственные литературные произведения, нашедшие своеобразное отражение в ивановской поэме в прозе; в “Распаде атома” есть мощные гоголевская и пушкинская линии; не исключены и другие серьезные влияния. И все-таки представляется, что присутствие в тексте Г. Иванова бодлеровских реминисценций имеет особое значение. Мы привели лишь наиболее заметные соответствия, наиболее яркие “отражения”; на самом деле их значительно больше: это и тема “сердечности и жалости”, и перекликающиеся между собой фразы о кресте Почетного Легиона, и схожая интерпретация “обыденных вещей”. Отметим напоследок еще две параллели. Взятые вами по себе, они могли бы показаться случайными совпадениями, но помещенные в ряд соотношений, о которых говорилось выше, эти две “случайности” оказываются особенно знаменательными.

В очерке “Человек в рединготе” Г. Иванов рассказывает о своей встрече с неким странным субъектом, сидевшим за столиком кафе и бормотавшим нечто невразумительное. “Я прислушался [...] Странный человек в рединготе, перед батареей “калинкинского” на заплеванном “Поплавке” читал гениальную “Charogne” (“Падаль” - Г.М.) Бодлера. Это было забавно” (3, 407). “Забавным человеком” был литератор Александр Тишков, разыгрывавший роль “проклятого поэта”, пытавшийся “перебодлерить Бодлера”. Как пишет Г. Иванов, дома у Тишкова в киоте вместо икон помещались портреты Распутина, Ницше, Анны Вырубовой и Бодлера, поэтому бодлеровское стихотворение вложено в уста Тишкова неслучайно. Но ведь слово, ставшее заглавием этого стихотворения, встречается и в “Распаде атома”: “Падаль. Человеческая падаль” (2, 13) – там,

где речь идет о “спирте-младенцовке”. “Отражение”, кажется, несомненное. Но вот другое “отражение”, не менее очевидное и, в то же время, удивительное.

В одном из фрагментов “Фейерверков” Бодлера (начало его нами уже цитировалось) о плотской любви сказано так: “... я счел бы себя святотатцем, применив слово “экстаз” к этому процессу распада (*désintégration*)” (407). Связь названия ивановской поэмы в прозе с этой бодлеровской фразой понятна, тем более что процесс “распада атома” человеческой души ассоциативно связан с процессом разложения тела.

И наконец, вот высказывания Бодлера о литературном стиле, взятые из его дневников: “Два основных литературных достоинства – сюрреализм и ирония” (“Фейерверки” - 413). “Смесь гротескного и трагического приятна уму, как диссонанс – пресыщенному уху” (416). Пожалуй, невозможно точнее сказать о стилистике и содержании “Распада атома”. А что касается формальной стороны, – в “Гигиене” Бодлер пишет: “Всегда оставайся поэтом, даже в прозе. Высокий стиль (ничего нет прекраснее общих мест)” (424). Этому бодлеровскому завету автор “Распада атома” остался верен навсегда, несмотря на все “искаженные отражения”.